

Культурная революция, советский субъект и порядок дискурса

Илья Калинин

Доцент, кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы, факультет свободных искусств и наук, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 58–60. E-mail: i.kalinin@spbu.ru.

Ключевые слова: порядок дискурса; производство советского субъекта; постколониальная теория; «Левый фронт искусств»; культурная революция.

Одним из главных предметов теоретических дискуссий, последовавших за 1968 годом, стал выдвинутый Мишелем Фуко вопрос о нормализующей роли дискурса — о том регулирующем эффекте, действие которого распространяется не только на структуру сообщения, но и на самого говорящего. Смена оптики, осуществленная Фуко, позволила увидеть в дискурсе не только медиум власти, но и власть как таковую. Оpozнание этой дискурсивной власти позволило Фуко перевернуть традиционные представления об индивидуе как об онтологическом источнике речи, «творческой силе, определяющей изначальное место письма», переопределив его как функцию самого высказывания, которое обеспечивает грамматическое единство, концептуальную и стилистическую связность речи.

В ранней советской культуре можно обнаружить как сами практики управления, опирающиеся на сходное понимание нормализующей роли дискурса, так и рефлексию над этими практиками. Причем наиболее интересными в данной перспективе становятся форма усвоения этого нормативного порядка и механизмы идеологической интерпелляции, предполагающие активное вовлечение советских граждан в дискурсивное производство. Иным словом, автора интересует то, как идея становится материальной силой и каким образом она овладевает массами. Непосредственный предмет рассмотрения — рабковское и сельковское движение 1920-х, а также его осмысление теоретиками «Левого фронта искусств».

Это большая удача для русского народа, что после социальной революции власть захватила такая культурная партия, как большевики.

Анатолий Луначарский. Выступление на съезде по реформе высшей школы

ЗНАЧИМЫМ моментом в описании раннесоветской субъективности должна стать концептуализация разрыва между индивидом, — обретающим речь, а вместе с ней и субъектность, — и тем языком, который делает эту речь социально значимой. Недостаточно просто указать на интенсивность и распространенность в советском обществе 1920–1930-х годов дискурсивных и поведенческих практик «перелицовки самого себя» (*self-fashioning*¹), продемонстрировав структурную гомогенность официальных дискурсов пропаганды и частных тактик формирования «я» и тем самым снимая или обходя вопрос о господстве

Статья написана на основании доклада, прочитанного на конференции «Актуальность Фуко. Идеи Мишеля Фуко и современное общество», которая была организована Центром изучения гражданского общества и прав человека и прошла при финансовой поддержке Фонда им. Эндрию Гагарина на факультете свободных искусств и наук (СПбГУ) 14–15 декабря 2017 года.

1. Эти практики исследованы в книге: *Greenblatt S. Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare.* Chicago: University of Chicago Press, 1980. Идеальный и темпоральный вектор советских практик *self-fashioning* отчасти совпадал с ренессансным, также акцентируя необходимость преодоления прошлого. Ср.: «Мы в известной степени (физически) еще люди прошлого, со всеми недостатками прошлого, над всеми нами еще нужна громадная работа. Мы сами должны работать над собою и над теми, кто приходит к нам» (Как проводить чистку партии. Сборник директивных статей и материалов / Под ред. Е. Ярославского. М.; Л.: ГИЗ, 1929. С. 10). Отличие же состояло в коллективном характере процедур формирования «я», в императивности, с которой коллектив должен был направлять, помогать или «при необходимости» репрессивно «перековывать» идентичность советского субъекта. Поэтому доминирующим приемом советской «перелицовки» собственного «я» была «чистка»: «Мы вот сейчас... должны прежде всего заглянуть в самого себя и постараться хорошей большой метлой изгнать из себя „мещанина“... Научиться понимать сейчас волю, интересы коллектива, ими определять волю и интересы моего „я“ — вот первый подход к созданию нового быта» (*Лядов М. Н. Вопросы быта // Партийная этика. Документы и материалы дискуссий 1920-х годов / Сост. и автор примеч. М. А. Макаревич. М.: Политиздат, 1989. С. 310, 326*).

и принуждении². Формирование «я» (процесс субъективации) должно быть описано не только исходя из того, *кто* выступает инстанцией этого конструирования (индивид, идеологические аппараты государства или его репрессивные органы³), но и из того, *что* является дискурсивным материалом этого конструирования, как организовано пространство дискурса, внутри которого осуществляется это формирование «я».

Практики свободного и внутренне осознаваемого строительства собственного «я», инициированные советской культурной революцией, подхватившей революцию социальную, еще более остро ставят вопрос о скрытой власти дискурса, через приобщение к которому осуществляется субъективация, поскольку эти практики отрицали факт политического принуждения. В этом отношении исторический случай формирования советского субъекта представляется одним из наиболее красноречивых, так как сам индивид, включенный в этот процесс, определял себя в качестве суверенного источника существующей власти. Таким образом, момент подчинения, совпадающий с моментом субъективации (так, как он описывался Мишелем Фуко или Луи Альтюссером), внешне — на уровне политического господства — исчезал, обретая себя в иных формах.

Одним из главных предметов теоретических дискуссий, последовавших за 1968 годом, стал выдвинутый Мишелем Фуко вопрос о нормализующей роли дискурса — о том регулирующем эффекте, действие которого распространяется как на структуру сообщения, так и на самого говорящего. Смена оптики, осуществленная Фуко, позволила увидеть в дискурсе не только медиум власти, но и власть как таковую, производящую идентичность тех, кто использует дискурс или получает доступ к использованию дис-

2. *Hellbeck J.* Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931–1939) // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1996. Bd. 44. № 3. S. 344–373; *Idem.* Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia // *Kritika*. 2000. № 1. P. 71–96; *Idem.* Writing Self in the Time of Terror: Alexander Afinogenov's Diary of 1937 // *Self and Story in Russian History* / L. Engelstein, S. Sandler (eds). Ithaca; L.: Cornell University Press, 2000. P. 69–93; *Idem.* Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006; *Halpin I.* From Darkness to Light: Student Communist Autobiography During NEP // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1997. Bd. 45. № 2. S. 210–236; *Idem.* Terror in My Soul: Communist Autobiography on Trial. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
3. См.: *Althusser L.* *Idéologie et appareils idéologiques d'Etat* (1970) // *Idem.* *Positions* (1964–1975). P.: Éditions Sociales, 1976. P. 67–125.

курса⁴. Оpozнание этой дискурсивной власти позволило Фуко перевернуть традиционные представления об индивиде как об онтологическом источнике речи, «творческой силе, определяющей изначальное место письма», переопределив его как функцию самого высказывания, обеспечивающую грамматическое единство, концептуальную и стилистическую связность речи. Автор — или, в терминологии Фуко, «функция-автор» — описывается им как обратный эффект упорядочивания самого дискурса: «...то, что в индивиде обозначается как автор... есть не более чем проекция... некоторой обработки, которой подвергают тексты»⁵. Таким образом, между автором и дискурсом устанавливаются зеркальные, хотя и несимметричные отношения: первый возникает как функция упорядочивания второго, при этом дискурс нуждается в говорящем, поскольку именно его фигура позволяет дискурсу раз за разом воспроизводить собственный порядок.

Позднее, во многом подводя итоги традиции (идушей от Маркса, Ницше и Фрейда) проблематизации субъекта как эффекта приложения различных сил, Джудит Батлер еще раз подчеркнет парадоксальность процесса субъективации, означающего «одновременно становление субъектом и процесс подчинения — человек поселяется в фигуре автономии, только становясь подчиненным власти»⁶. Иными словами, субъективация, возникающая как результат приобщения к дискурсу (Фуко) или идеологии (Альтюссер), есть такое производство субъекта, которое не просто односторонне воздействует на индивидуума, являясь формой господства, но и «запускает», приводит в действие субъекта как такового. Таким образом, его дискурсивная и идеологическая опосредованность оказывается одновременно и пространством его автономии, и формой его регуляции.

Постколониальная перспектива внесла в проработку этой проблематики новые акценты. Теперь диалектика становления субъекта, разворачивающаяся между индивидом и дискурсом, приобрела дополнительное отчуждающее измерение. Открытие этого нового измерения состояло в опознании принципиального разрыва между индивидом и дискурсом, через который и в рам-

4. См.: Фуко М. Порядок дискурса // Он же. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Пер. с фр. С. Табачниковой, под общ. ред. А. Пузырева. М.: Касталь, 1996. С. 47–96.

5. Он же. Что такое автор // Воля к истине. С. 26–40.

6. Батлер Дж. Подчинение, сопротивление, переозначивание. Между Фрейдом и Фуко // Она же. Психика власти: теории субъекции / Пер. с англ. З. Баблюяна. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002. С. 74.

ках которого осуществляется его субъективация. С точки зрения постколониальной теории проблема субъективации состоит не только в том, что опосредующий ее дискурс изначально не принадлежит индивиду. Проблема заключается в том, что когда речь идет о субъективации тех, кто находился в подчиненном положении, — независимо от форм этого подчинения, — то дискурс, доступ к которому они получают, является носителем прежних отношений господства. Например, в России 1920-х годов революционный дискурс, строящийся на разрыве с прошлым, довольно быстро столкнулся с необходимостью решения проблемы культурного наследия, сменив лозунг «Сбросим прошлое с корабля современности!» на призыв «учиться у классиков». В результате оказались воспроизведены не только прежние дискурсивные формы, но и стоявшие за ними отношения господства и подчинения. С характерным для него остроумием на негативный фактор культурного наследия указал Виктор Шкловский:

Великая русская литература — большое несчастье для современности. Потому что от нее ждут «большого полотна» и Кити Левину — комсомолкой⁷.

Как известно, одним из ключевых вопросов, которые легли в основу постколониальных исследований, стал вопрос, могут ли угнетенные говорить. Он прозвучал в знаменитой статье Гайятри Чакраворти Спивак *Can the Subaltern Speak?* (1988)⁸ и был ею радикально проблематизирован. Непосредственным толчком к принятому ею определению постколониального взгляда на эту проблему стал текст беседы между Мишелем Фуко и Жилем Делёзом, состоявшейся в 1972 году⁹. Спивак подвергает последовательной критике их способ разговора о субъективности. Главный тезис Фуко и Делёза состоит в том, что конкретный опыт борьбы, приобретенный массами, позволяет им знать свою ситуацию гораздо лучше интеллектуалов; более того, он позволяет им гораздо лучше интеллектуалов эту ситуацию выражать¹⁰. Французские

7. Шкловский В. Куда шагает Дзига Вертов // Он же. За 60 лет. Работы о кино. М.: Искусство, 1985. С. 79.

8. Спивак Г. Ч. Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования. Хрестоматия. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. Ч. II. С. 649–670.

9. См.: Фуко М., Делёз Ж. Интеллектуалы и власть // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избр. полит. ст., выступ. и интервью. Ч. 1 / Пер. с фр. С. Офертаса, под общ. ред. В. Визгина, Б. Скуратова. М.: Праксис, 2002. С. 66–81.

10. См.: Там же. С. 68.

теоретики наделяют привилегированной позицией фигуру угнетенного как субъекта, который благодаря специфике своей включенности в производственные отношения способен создать условия, при которых он сможет говорить сам и от своего лица (минуя не только демократически-парламентское посредничество буржуазии, но и дискурсивное посредничество самих левых интеллектуалов — более того, в некотором смысле и сам дискурс). Как формулирует эту установку Делёз, «представительства¹¹ больше нет, есть лишь действие»¹².

Задача интеллектуалов в процессе создания этих условий заключается в отказе от теории как тотализирующего представления чужого опыта и в движении к теории инструментальной, производство которой было бы так же вписано в практику, как и физический труд рабочих. Такая инструментальная теория, с точки зрения Фуко и Делёза, должна привести к снятию принципиального разрыва между теорией и практикой, сделав этот новый тип «практической теории» орудием борьбы против всех видов власти, проявляющих себя в режимах «знания», «истины» и «дискурса»¹³.

Критика этой позиции со стороны Спивак разворачивается по нескольким направлениям. Во-первых, с ее точки зрения, Фуко и Делёз не учитывают роль идеологии в системе воспроизводства общественных производственных отношений (чему была посвящена статья Альтюссера, вышедшая, правда, всего за год до их диалога). Во-вторых, аксиологическое выдвигание конкретного опыта — «того, что в действительности происходит» (Делёз), — приводит к блокированию разработки альтернативной идеологии и выводит за скобки возможность теоретического рассмотрения той гегемонии, которая существует в мировом разделении труда, что эмпирически закрепляет различие между первым и третьим мирами. И наконец, самое главное: характерное для диалога «противопоставление абстрактной, „чистой“ теории — конкретной, „прикладной“ практике является слишком скоропалительным и легким»¹⁴. Этот последний упрек основан на недостаточно отчетливом, с точки зрения Спивак, различении двух смыслов и двух перспектив понятия «репрезентация».

11. В том числе в символическом смысле «репрезентации», поскольку Делёз обыгрывает оба смысла этого понятия.

12. Там же. С. 67.

13. Там же. С. 69.

14. Спивак Г. Ч. Указ. соч. С. 655.

Разворачивая свою критику применительно к пространству социального угнетения, Спивак указывает на то, что проблема состоит не только в том, что угнетенные могут говорить только через опосредование политической репрезентации (представительства), но и в том, что их собственная речь упирается в стену символической репрезентации — дискурсивную опосредованность чужим языком. Это ограничение, в свою очередь, становится причиной фундаментального разрыва между социальной теорией, наделяющей фигуру угнетенного (будь то рабочие или представители третьего мира) способностью «говорить и действовать самому за себя» (позиция Фуко и Делёза), и непосредственной социальной практикой, в которой сознание угнетенных, чтобы обрести классовую субъективность и устойчивую символическую позицию, должно оформиться через приобщение к господствующему дискурсивному режиму. Если угнетение состояло в молчаливом существовании по ту сторону дискурса и субъективности, то, казалось бы, эмансипирующая субъективация оборачивается обучением чужому языку, в пределах которого автономия становящегося субъекта синонимична обретению идентичности, оторванной от его непосредственной практики.

Этот скепсис Спивак не раз подвергался критике (прежде всего с марксистских позиций), указывающей на то, что она интересуется дискурсивной гегемонией больше, чем реальными условиями социального угнетения¹⁵. Однако в нашем случае, когда проблема репрезентации возникает в постреволюционной ситуации освобождения от социального, политического и экономического гнета, эта критика может быть оставлена за скобками. Более того, специфика речевой субъективации «победившего пролетариата» и возникающие эффекты дискурсивного и политического насилия, равно как и наследование категорий доминирующего языка «старого режима», свидетельствуют о том, что проблема культурной гегемонии сохраняет свою актуальность и после победы угнетенных. Иными словами, даже после того, как экономическая нищета постепенно утрачивает свою остроту, а политическая дискриминация оборачивается против бывшего господствующего класса, его культурное и дискурсивное господство продолжает сохранять актуальность.

15. См., напр.: *Lazarus N. National Consciousness and the Specificity of (Post) Colonial Intellectualism // Colonial Discourse/Postcolonial Theory / F. Barker et al. (eds). Manchester: Manchester University Press, 1994. P. 197–220.*

Значимость этой аналитической перспективы применительно к историческому материалу дискуссий о путях и методах культурной революции, которую победивший пролетариат должен совершить, чтобы закрепить социальные завоевания Октября, состоит в том, что перед советскими теоретиками и агентами культурной революции стояли проблемы, во многом сходные с теми, что позднее будут концептуализированы в интеллектуальных дискуссиях 1970–1980-х годов. Поскольку разница между раннесоветскими и постструктуралистскими теориями заключается прежде всего в различии между задействованными модальностями — нормативной в первом случае и критической во втором, — возникает парадоксальная ситуация: то, что позднее будет вскрываться как аналитический эффект «обнажения приема», в 1920-е годы являлось непосредственным предметом дискуссий и объектом культурной политики.

Так, например, Мишель Фуко разрабатывает специальную критическую оптику, позволяющую увидеть за буржуазным политическим режимом модерна символические формы дисциплинарной власти и дискурсивного принуждения. В ситуации же строительства советского общества вся эта обнаруживаемая Фуко археология власти-знания была выведена на поверхность в нормативных и нормализующих дискурсах, прямо направленных на дисциплинарное и дискурсивное производство нового субъекта. В то время как Фуко работает над обнаружением регулятивной механики дискурса, культурная политика 1920-х годов производит прескриптивный дискурс как таковой, причем его перформативная власть тематизирует порядок как на уровне письма, так и на уровне его субъекта.

Наиболее развернутое приложение фукианской критики к практикам формирования советского субъекта можно найти в книге Олега Хархордина «Обличать и лицемерить»¹⁶. Однако мой тезис отличается от того анализа, который предпринимает Хархордин. Он использует фукианский подход как методологическую «рамку» для своего описания механизмов формирования советского человека. Я же исхожу из того, что сама раннесоветская дискурсивная практика, связанная с механизмами субъек-

16. См.: Хархордин О. Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб.; М.: ЕУСПб; Летний сад, 2002. См. также: Эткнд А. Фуко и имперская Россия: дисциплинарные практики в условиях внутренней колонизации // Мишель Фуко и Россия: Сб. ст. / Под ред. О. Хархордина. СПб.; М.: ЕУСПб; Летний сад, 2001. С. 166–192.

ективации, опиралась на интуиции, сходные с теми, что позднее были теоретически артикулированы Фуко. Более того, эти интуиции уже были концептуально тематизированы в рамках советско-го дискурса.

Те скрытые импликации власти, которые Фуко обнаруживал во внутренней грамматике дискурса, были непосредственным предметом субъективирующих дискурсов 1920-х годов: в первом случае мы имеем дело с аналитическим обнаружением власти дискурса, во втором — с ее открытой демонстрацией. Сокрытое и явное меняются местами. Если Фуко показывает, как дискурс осуществляет невидимую власть, нормализующую своего субъекта, то советские теоретики 1920-х годов пытались сознательно использовать дискурс как механизм просвещения и идеологической нормализации масс. Возникающая таким образом инверсия между речевой формой осуществления власти и утверждением власти как целью самого сообщения является следствием характерного для раннесоветской эпохи утопизма. В этом смысле утопия всегда так или иначе обнажает скрытые условия воспроизводства идеологии, которой она диалектически противостоит¹⁷.

Я попытаюсь рассмотреть эту проблематику на примере левовской «литературы факта», пытающейся дать свою литературно-политическую трактовку движения рабкоров и селькоров (вторая половина 1920-х годов). Литературная политика ранней советской эпохи имела отношение не только к литературе и не только к «формовке советского писателя»¹⁸. Отличие моей позиции от анализа, представленного в книге Евгения Добренко «Формовка советского писателя», состоит в том, что, с моей точки зрения, ставка в этой литературной политике была больше самой литературы, больше того, кто должен был стать порождающей ее фигурой. Именно поэтому после того, как стало ясно, что эти усилия достигли определенного результата, необходимость в армии «начинающих писателей и поэтов», сохраняющих связь между писательством и производством, между литера-

17. Хотя в своей работе «Идеология и утопия» Карл Манхейм не делает этого вывода, его можно сделать, развивая его собственную логику. См.: *Манхейм К. Идеология и утопия* / Пер. с нем. М. И. Левиной // Он же. *Диагноз нашего времени*. М.: Юрист, 1994. С. 52–95.

18. Литературная политика 1920-х — первой половины 1930-х годов в связи с интересующей нас перспективой формирования фигуры советского писателя детально и предельно содержательно раскрыта в книге: *Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры*. СПб.: Академический проект, 1999.

турой и рабочими массами, перестала быть насущной. В начале 1930-х годов необходимость «вытаскивать» из исторической немоты рабоче-крестьянские массы, призывая их представителей превращаться в рабкоров, селькоров, начинающих пролетарских писателей и крестьянских поэтов, отпала, как и стоящая за ней модель субъективации. После чего писатель вновь стал частью замкнутой и элитной профессиональной корпорации, — что и произошло в процессе подготовки к I Съезду советских писателей и было им закреплено. Произошло не просто статусное возвышение писательского цеха, наделенного всевозможными привилегиями в закрытой системе распределения материальных благ¹⁹, произошла символическая ремифологизация самого статуса писателя, вокруг которого была создана атмосфера исключительности, сделавшая из него не только фигуру «владельца умов» (как это было в классический период русской литературы), но и «инженера человеческих душ», — что должно было лишней раз подчеркнуть социокультурную императивность поставляемых литературой образцов. Таким образом, литературный труд оказался вновь мистифицирован, вернув себе прежнюю «волшебную обособленность», о которой Ролан Барт писал (применительно к воспроизведенным в рамках современной буржуазной культуры представлениям о природе поэтического творчества):

...литературный труд относится к другим видам человеческого труда так же, как амброзия — к хлебу; это чудесная, вековечная субстанция, которая снисходит до социальных форм (имеются в виду обыденные социальные практики обычных людей. — *И. К.*) лишь затем, чтобы тем яснее показать свою величественную отличность от них²⁰.

Масштаб символических и материальных капиталовложений, организационных усилий и число людей, вовлеченных в литературную политику 1920-х — начала 1930-х годов, может удивить, если исходить из того, что вопрос стоял исключительно о создании советской литературы и советского писателя. Но эта диспропорция между затратами и задачей снимается, если допустить, что субъектом, вокруг которого велись литературные баталии эпохи, был *не советский писатель, а советский человек как таковой*. Его движение в литературу было частью его становления в каче-

19. См., напр.: Фрезинский Б. Писатели и советские вожди. М.: Элис Лак, 2008.

20. Барт Р. Мифологии / Пер. с фр., комм. С. Зенкина. М.: Издательство им. Сабашниковых, 1996. С. 77.

стве советского субъекта, в то время как превращение в писателя было не просто редким, но скорее случайным, почти побочным эффектом этого процесса. При этом фигура нового советского писателя (прежде всего в лице пролетарского писателя и рабочего корреспондента) была не только синекдохой, предъявляющей привилегированную часть вместо целого, но образцом — прототипическим и формообразующим для советского субъекта как такового.

Относительно рабкоровского движения об этом прямо говорит Григорий Зиновьев (хотя его утверждение можно распространить и на процесс формирования пролетарского писателя в целом):

Уже совершенно ясно, что движение рабкоров и отчасти селькоров — это есть кусок практического ленинизма, это не только литературная и не столько литературная работа, сколько часть партийного строительства, часть работы по поднятию культуры в нашей стране²¹.

Тогда от описанных Евгением Добренко механизмов «формовки советского писателя» можно перейти к следующему тезису: это была не просто формовка передового отряда нового советского общества, но моделирующая практика формовки советского субъекта в целом. Литература оказывалась не просто традиционно высокой культурной ценностью, которая переходила к победившему классу трудящихся. Литература манифестировала собой дискурс как таковой, упорядоченное символическое пространство, через входение в которое и через овладение которым индивид превращался в сознательного и нормализованного субъекта, говорящего и думающего на прозрачном для власти языке. Поэтому собственно «литературность» этой литературы зачастую оказывалась за бортом критических дискуссий того времени.

Важнее было другое: насколько новая социальная практика отпечатывается в продуктах литературного производства, насколько новый субъект литературы (пролетарский писатель) сохраняет связь с его изначальной производственной базой, являясь одновременно *и писателем, и пролетарием* (разрешая ту же проблему, которая через 50 лет встанет перед Фуко и Делёзом: как преодолеть дистанцию между репрезентацией и действием, между теорией и практикой).

21. Зиновьев Г. Новый великий почин (Рабкоровское и селькоровское движение). М.; Л.: Правда, 1925. С. 4.

В отношении деятельности рабочих корреспондентов это различие между риторикой и грамматикой репрезентации («порядком дискурса») и непосредственной укорененностью в социальном праксисе масс отчетливо выразил Николай Бухарин:

Рабкоровская функция, как таковая, состоит не в том, чтобы красиво и гладко написать, чтобы знать, где расставлять запятые и разбираться в знаках препинания. Она состоит в том, чтобы хорошо нюхать настроение массы, быть щупальцами в этой массе²².

Вопрос об опасностях профессионально-литературного становления рабочих-писателей был задан уже одним из первых марксистских социологов искусства — Владимиром Фриче. В 1919 году он указал, что в результате отрыва от производства позитивный процесс рождения новых поэтов из рабочей среды может обернуться их цеховой литературной буржуазно-интеллигентской субъективацией, чреватой классовым «перерождением». По сути, это та же опасность, на которую указывают Маркс в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта», а потом и Спивак: пролетарский писатель превращается в «представителя» рабочего класса в литературе, так же как в парламентской демократии рабочие обретают представителей (как правило, из среды буржуазии), отстаивающих их интересы в парламенте. При этом сами рабочие по-прежнему лишены собственного голоса: в случае парламентской демократии за них говорят другие, в случае профессионализированной пролетарской литературы за рабочих говорят писатели, вышедшие из их же среды, но переставшие быть рабочими, а значит, утратившие связь с социально-производственной практикой пролетариата.

Опасность этого «перерождения» опознается не только в социальном обособлении от рабочей массы и ежедневной производственной практики, но и в связи с ростом «дискурсивных ам-

22. Бухарин Н. Вопросы первого Всесоюзного совещания рабкоров (16–20 янв. 1923 г.) // Он же. О рабкоре и селькоре. Ст. и речи. 2-е изд. М.: Правда; Беднота, 1926. С. 36. Стилистическая и грамматическая нормативность дискурса, отчуждающая рабочего от его собственной идентичности, уступает место его собственному языку, его праву говорить о себе и от своего лица: «Мы можем спокойно поместить уродливую, безграмотным языком написанную корреспонденцию с фабрики, которая отражает настроение массы, и не взять прилизанной, приукрашенной, по всем правилам грамматики написанной корреспонденции, которая не дает отражения настроения» (Там же).

биций» рабочего-писателя, с его все возрастающим стремлением овладеть нормативными требованиями «высокого» литературного стиля.

Обособление рабочих-поэтов от массы, от производства, от фабрики и завода, их переход в ряды интеллигенции, хотя и пролетарского происхождения, их превращение в поэтов-профессионалов с возрастающими запросами по части техники, по части мастерства — все это должно было облегчить самый процесс их пленения поэтами буржуазной интеллигенции²³.

Таким образом Фриче подводит итог активности Пролеткульта, в котором тяга пролетариата к массовому творчеству встречалась с просветительской готовностью интеллигенции ответить на эту тягу. И продолжает:

Если поэты, вышедшие из рабочей среды, хотят создать в самом деле пролетарскую и по духу, и по форме поэзию, они должны идти не к интеллигенции, не к поэтам-профессионалам буржуазного прошлого, а назад к своей стихии, в свою среду, назад к массам, к пролетариату, на заводы и фабрики²⁴.

Каким же образом движение вперед, к пролетарской литературе, должно было совпадать с движением назад, к «стихии» пролетарского праксиса?

Одной из наиболее развернутых попыток ответа на этот вопрос была литературная программа «Левого фронта искусств» (1922–1929). Лефовцы надеялись преодолеть двусмысленность этого, одновременно эмансипирующего и колонизирующего, воздействия литературы и возлагали свои надежды на новый тип дискурсивной субъективации рабочего писателя. «Литературная учеба» для Шкловского и других представителей ЛЕФа во многом была синонимична повышению *профессиональной квалификации* стремящегося «в писатели» рабочего. В своем пособии по овладению ремеслом писателя Шкловский учит:

Если вы хотите стать писателем, то вы должны рассматривать книгу так же внимательно, как часовщик часы или шофер машину²⁵.

23. Фриче В. Пролетарская поэзия. М.: Денница, 1919. С. 110.

24. Там же.

25. Шкловский В. Б. Техника писательского ремесла. М.; Л.: Молодая гвардия, 1927. С. 7.

Учиться писать означает для него две вещи. Во-первых, нужно актуализировать универсальные практические навыки, необходимые любому профессионалу: рациональное внимание к вещам, наблюдательность, аналитическую способность «развинчивать» тексты и вещи, конструктивное отношение к материальному миру и так далее. Во-вторых, необходимо повышать уровень квалификации в своей «второй профессии» (второй по отношению к писательству), то есть на самом деле в первоначальной и основной рабочей специальности.

Первое условие связано с овладением приемами построения вещей, не важно каких: поэм, производственных очерков, станков или тракторов. Второе обеспечивает полноту охвата материала, доскональное знание темы, взгляд на раскрываемую проблему с внутренней, то есть практической, точки зрения²⁶.

Учиться «литературному ремеслу» означает, по Шкловскому, прежде всего учиться какой-нибудь рабочей специальности, причем учиться всю жизнь:

Прежде чем стать профессионалом-писателем, нужно приобрести другие навыки и знания и потом суметь внести их в литературную работу²⁷.

То есть вначале необходимо получить эти навыки, а потом уже пытаться их «внести в литературную работу».

Эта «вторая профессия» выполняет не компенсаторную, но конституирующую функцию по отношению к писательству:

Писатель должен иметь вторую профессию не для того, чтобы не умирать с голода, а для того, чтобы писать литературные вещи. И эту, вторую, профессию не должен забывать, а должен ею работать; он *должен быть* кузнецом, или врачом, или астрономом. И эту профессию нельзя забывать в прихожей, как галоши, когдаходишь в литературу²⁸.

26. О концептуализации «писательства» и самой фигуры художника в позднем ЛЕФе и о том, как через фигуру Шкловского она соотносится с ранним формализмом, см.: *Калинин И.* От понятия «сделанность» к технологии «литературного ремесла»: Виктор Шкловский и социалистический формализм // Транслит: литературно-критический альманах. 2010. № 6–7. С. 15–30.

27. *Шкловский В. Б.* Техника писательского ремесла. С. 5.

28. *Он же.* О писателе и производстве // *Литература факта.* Первый сборник материалов работников ЛЕФа / Под ред. Н. Чужака. М.: Захаров, 2000 (1-е изд.: М.: Федерация, 1929). С. 195–196. Курсив мой. — *И. К.*

Две профессии, необходимо совмещающиеся в фигуре писателя, позволяют снять центральное для нас разделение между лишенным собственного языка рабочим и субъектом дискурса — не важно каким: эксплуатирующим рабочего капиталистом или ратующим за его освобождение интеллектуалом.

Освобождение рабочего в данном случае заключается не в том, что он может покинуть немую резервацию своего рабочего места и стать «пролетарским писателем». Оно состоит в освобождении самого труда, самой социальной практики, которая воспринимается теперь как осмысленная речь, не нуждающаяся в переводе в какой-то иной, — опосредованный «специалистами», профессиональными писателями, интеллектуалами — дискурс. Рабочий корреспондент выступает здесь как передовая фигура, на которую должна ориентироваться новая литература, «литература факта», как ее обозначают левовцы. Его речь не *надстраивается* над его непосредственной производственной практикой, но *встраивается* в нее.

Критически откликаясь на теоретическую непоследовательность позиции Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), которая в фигуре пролетарского писателя видела *пролетария, превратившегося в писателя* (то есть писателя, хотя и сохранившего «смычку с рабочими массами», но переставшего в своей повседневной практике быть рабочим), Шкловский пишет:

И нужно не лезть в большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное²⁹.

Иными словами, место литературы оказывается там, где уже находится рабочий, то есть у станка. Именно там, не отходя от станка, и должен был *начинающий писатель* становиться *настоящим рабочим*, фигура которого, в свою очередь, оказывалась образцовой моделью для самого писателя, поскольку снимала различие между практикой и дискурсом. Перед нами — утверждение *praxis*'а как момента совпадения человека с тем местом, которое он занимает. Именно на своем рабочем месте человек и должен разворачивать борьбу за преобразование как своей субъектности, так и мира, который его окружает. Этот парадоксальный механизм самопреобразования, превращения рабочего в писателя непосредственно на его рабочем месте может быть сопоставлен с одним из главных тези-

29. Там же. С. 197.

сов Маркса о том, как развивается революционное движение пролетариата. Грандиозность конечной цели преобразования мира может породить скепсис относительно ее достижения даже при наличии постоянного роста рабочего движения³⁰. Этому вероятному скепсису внутренних оппортунистов Маркс противопоставил способность рабочего революционного движения постоянно обращаться на себя приобретенный в боях исторический опыт:

... пролетарские революции, революции XIX века, постоянно критикуют сами себя, то и дело останавливаются в своем движении, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще раз начать это сызнова... снова и снова отступают перед неопределенной громадностью своих собственных целей, пока не создается положение, отрезающее всякий путь к отступлению, пока сама жизнь не заявит властно: *Hic Rhodus, hic salta!* (Здесь роза, здесь танцуй!)³¹.

Призыв Маркса «Здесь роза, здесь танцуй!» соотносится с тезисом Шкловского о том, что «самое важное место находится там, где мы стоим». Революция совершается там и тогда, где и когда есть сила, готовая не отступить перед объективными историческими обстоятельствами, а не там, где возникают объективные исторические условия для ее совершения. Большая литература постреволюционной эпохи рождается там, где находятся совершившие революцию производительные силы, то есть у фабричного станка: не отходя от него, но повышая свою сознательность и производительность, рабочий и превращается в *рабочего писателя*, то есть в рабочего, свободный и творческий труд которого стал артикулированной речью.

Таким образом, и литература для того, чтобы стать «настоящей», то есть оказаться частью реальности, должна была совпасть с понимаемым по модели производственного процесса литературным трудом — прежде всего *трудом* и лишь во вторую очередь *литературным*. Язык литературы факта, «сырьевой дискурс», производимый рабочим корреспондентом, оказывался гомологичным по отношению к непосредственному физическому труду рабоче-

30. См.: Люксембург Р. Оппортунизм в теории и на практике // Она же. О социализме и русской революции. Избр. ст., речи, письма. М.: Политиздат, 1991. С. 131.

31. Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 50 т. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 8. С. 120. *Hic Rhodus, hic salta!* («Здесь Родос, здесь прыгай!»; в переносном смысле — «Здесь главное, здесь доказывай!») — слова, обращенные к хвастуну (из басни Эзопа «Хвастун»), утверждавшему, что на острове Родос он совершал огромные прыжки.

го. Подобное отождествление труда, речи и активного осознания окружающего мира близко к тому прочтению гегелевской «Феноменологии духа», которое в 1930-е годы предложит Александр Кожев и которое позже, в 1960–1980-е годы, станет важным для дискуссий вокруг проблемы субъекта и идентичности. Если Гегель в своем описании труда акцентировал его принудительность, Кожев политизировал и историзировал гегелевскую диалектику раба и господина, связав труд (равно как и дискурс) с проявлением свободы, с рефлексивным отрицанием наличного бытия, то есть с историей:

Работающий Человек *думает* о том, что он делает и *говорит* об этом... только думая и говоря, Человек действительно может *работать*. Таким образом, работающий Раб сознает то, что он делает, и то, что он сделал: он *понимает* Мир, который изменяет, и он *отдает себе отчет* в необходимости меняться самому... он *стремится* «не отстать от прогресса», который им самим осуществляется и который раскрывается человеком в дискурсе³².

«Мир освобожденного труда», теоретически утвердившийся в «стране победившего пролетариата», должен был являть собой ту стадию исторического становления, в которой смертельное напряжение между миром и трудом, господином (обладающим контролем над дискурсом, но в силу своей праздности утратившим связь с миром) и рабом (укорененном в мире посредством преобразующего этот мир труда, но не имеющим доступа к дискурсу) диалектически снималось:

Именно в этой последней борьбе, в которую трудящийся экс-Раб вступает исключительно ради славы, создается свободный Гражданин универсального и гомогенного Государства, который, будучи одновременно Господином и Рабом, не является более ни тем, ни другим — он является тем «синтетическим» или «тотальным» Человеком, в котором тезис Господства и антитезис Рабства «сняты диалектически»³³.

Лефовский рабор (рабочий писатель) и есть этот «тотальный человек», диалектически преодолевающий различие между рабом

32. Кожев А. Диалектика реального и феноменологический метод у Гегеля // Он же. Идея смерти в философии Гегеля / Пер. с фр. и послесл. И. Фомина; под ред. В. Большакова. М.: Логос; Прогресс-Традиция, 1998. С. 88. Курсив автора. О кожевской рецепции Гегеля в интересующем нас аспекте см. также: Butler J. Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France. N.Y.: Columbia University Press, 1999. P. 63–79.

33. Там же. С. 90.

и господином, между трудом (постоянно меняющим мир и самого трудящегося) и дискурсивным признанием (закрепляющим за человеком желанную для него идентичность).

Разворачивая программу деятельности рабкоров, еще один теоретик и практик ЛЕФа, Сергей Третьяков, говорит о том, что газетная заметка не должна просто «вскрывать недостатки». Недостаточно и того, чтобы в ней указывалось, как их устранить. Рабкор должен выступать не как «информатор», а как «организатор производства»³⁴. Его деятельность не должна ограничиваться написанием газетных заметок, вскрывающих дефекты или чествующих достижения. Его классовая рабочая субъективация возможна только через активное участие в социалистическом производстве, неотъемлемой частью которого и становится дискурсивная рабкоровская активность. Рабкоровская заметка должна описывать не столько сам недостаток, сколько борьбу рабкора по его устранению, тогда «будет показано, как маленький строитель социализма на малюсеньком культурном участке провел нужную борьбу с конкретными носителями зла»³⁵.

Таким образом, в корреспондентской работе совпадает трудовая практика и ее осознание — причем, повторюсь, сама работа корреспондента не сводится к написанию статьи (лефовские теоретики дают довольно скупые и схематичные рекомендации относительно композиционно-содержательных аспектов рабкоровского письма). Основой такой работы должна была стать сама борьба с косным наследием прошлого, в котором рабочий был отчужден как от средств производства, так и от продуктов своего труда, но самое главное — от возможности осознать себя полноправным историческим субъектом, ответственным за преобразование окружающей его действительности (в ходе этой борьбы рабочий и должен был обрести язык самоописания, структурно совпадающий с его трудовой практикой).

«Делайте конкретные предложения по дефектам! Рассказывайте, как вы боретесь!» — призывает Третьяков³⁶. Таким образом, установочный текст лефовского теоретика указывает не столько на то, как

34. Третьяков С. Рабкор и строительство // Литература факта. С. 223.

35. Там же. С. 224.

36. Там же. Об этом говорит и Бухарин, подчеркивая, что деятельность рабкора состоит «не только в регистрации того, что думают на фабриках, но и в формировании мнения. Но не только агитация, но и действие... Одного жулика выловить лучше, чем накричать о десяти и ничего не сделать» (Бухарин Н. Заветы Ленина и рабкоры // Он же. О рабкоре и селькоре. С. 9, 10).

должны писать рабкоры, сколько на то, как они должны строить социализм: культурная дихотомия слова (теории) и дела (практики), извечно стоявшая перед русской интеллигенцией, разрешалась здесь благодаря тому, что само дело опознавалось как слово — как *логос*, через который рабочий обретал свой собственный *голос*³⁷.

Левовская версия культурной революции (которую можно рассматривать как предвосхищение «постколониальной теоретической программы» и того горизонта преодоления разрыва между теорией и практикой, дискурсом и трудом, который мы обнаруживаем в беседе Фуко и Делёза) заключалась в том, что проблема строительства «пролетарской культуры» разрешалась в концепции, утверждающей в освобожденном от эксплуатации труде пролетария основу его собственного аутентичного языка. Таким образом можно было обойти характерную постколониальную ловушку, состоящую в том, что само становление *угнетенного* свободным и «культурным» субъектом разворачивается на чужом для него языке. Не «учеба у классиков» как присвоение культурных форм бывшего гегемона, а «учеба у собственной рабочей профессии», освобождение которой от эксплуатации переводит ее из плана автоматизированного труда в творческий план культурного производства. Теперь *угнетенные могли говорить*, обретая язык в той сфере, которая прежде и была эпицентром самого угнетения, — в сфере их непосредственной трудовой практики.

Оборотная специфика левовского проекта состояла в том, что люди, которых можно было бы описать как агентов «культурной колонизации», то есть сами спецы и теоретики ЛЕФа, отказывались от своей привилегированной позиции, отправляясь на заводы и в колхозы, требуя депрофессионализации и декорпоративизации писательского труда, сознательно редуцируя его к подсобной работе стенографиста.

Мы, литературные профессионалы, должны подойти к ним [людям рабочего опыта] как литературные секретари и помочь им, имея в виду, что движемся мы к той эпохе, когда *без помощи писателя люди что надо зафиксируют, кого надо сагитируют*³⁸.

37. И это та же проблема, которая не менее утопически разрешалась французскими интеллектуалами, осмыслявшими опыт 1968 года. Ср.: «Представительства (и репрезентации. — И. К.) больше нет — есть лишь действие, действие теоретическое, действие практическое, находящиеся в отношениях перехода или сплетения» (Фуко М., Делёз Ж. Указ. соч. С. 67).

38. Третьяков С. Продолжение следует // Литература факта. С. 281. Курсив мой. — И. К. Ср.: «...теперь роль интеллектуала состоит не в том, чтобы...

Это сокращение медиализирующей дистанции между трудом и представлением приводит к тому, что более прозрачной становится и граница между авторами и читателями: первые и вторые совпадают в фигуре рабочего, описывающего свою собственную трудовую жизнь в газетной заметке или изображающего самого себя в документальной киноленте (в последнем случае изображение переходит в присутствие). Эту мысль применительно к советской прессе Вальтер Беньямин проводит во время доклада в Институте по изучению фашизма в Париже (1934):

Человек читающий готов там в любое время стать пишущим человеком, то есть описывающим или даже предписывающим. Он получает доступ к авторству как эксперт — пусть даже не по специальности, а, скорее, только по должности, которую исполняет³⁹. Сам труд обретает дар слова. И выражение его в слове составляет часть навыков, которые требуются для занятия трудом⁴⁰.

Тезис Беньямина — труд обрел слово — указывает не на то, что производственный процесс стал основной темой советской газеты, а на то, что, предлагая новое направление всего литературного движения, коллективная, технологизированная, оперативно снимающая границы между публичной речью и социальной реальностью газета превращает в высказывание сам процесс производства. Труд становится речью, *praxis* и *logos* опознают друг в друге самих себя, включаясь в общий процесс преобразования мира.

Великий перелом рубежа 1920–1930-х годов и завершение культурной революции приведут к тому, что реальность производства и технологически максимально приближенной к нему репрезентации, представленной в газетной речи рабкоров и селькоров, преобразится в государственный символ. Лефовская утопическая программа преодоления символической власти дискурса в непосредственности труда разобьется о его идеологическую апроприацию (чтобы потом вновь возникнуть как горизонт надежды в беседе Фуко и Делёза). Социальная практика будет сублимирована в монументальный пропагандистский образ, призванный проде-

высказывать за всех безмолвную истину, а, скорее, наоборот, в том, чтобы бороться против всех видов власти там, где он сам представляет собой сразу и объект, и орудие» (Фуко М., Делёз Ж. Указ. соч. С. 69).

39. Речь идет о его прямой рабочей специальности, рабочей должности, с позиции которой он и выступает в качестве человека пишущего.

40. Беньямин В. Автор как производитель // Он же. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 139.

монстрировать *urbi et orbi* достижения социализма. Ставшая одной из наиболее узнаваемых эмблем советского государства скульптура Веры Мухиной, увенчавшая советский павильон на Парижской выставке 1937 года, «переносила своих героев с их рабочих мест... в некий материализованный возвышенный мир»⁴¹. Идеологическая возгонка, превращающая фигуру рабочего в памятник самому себе, окажется еще одним способом его дискурсивной депривации: конкретность труда, лишившись своей профессиональной технологической основы, станет революционно-романтической иконой политической теологии советского государства, означая что угодно — смычку города и деревни, союз рабочего класса и колхозного крестьянства, рабоче-крестьянский характер социалистического строя и т. д., — только не самих рабочих и крестьян. В этом смысле использование этой скульптуры в качестве экранной марки «Мосфильма» (с 1947 года) прочитывается лишь как аллегорическое удвоение ее изначальной медиализирующей функции, в данном случае подменяющей реальность социального праксиса фантазматической реальностью «важнейшего из искусств» и характерного для него символического порядка.

Культурная революция, развернувшаяся на протяжении первых пятнадцати лет советской власти, вступала в сложные отношения с политической революцией, итоги которой она должна была закрепить. В виде аллегорической притчи историческую траекторию этих отношений можно описать следующим образом. В ночь с 24 на 25 октября 1917 года Зимний дворец был взят большевиками, и «революция, о которой все время говорили большевики, свершилась»⁴². В 1927 году — к первому десятилетию революции — Сергей Эйзенштейн попытался уже на уровне работы с формами культурного наследия не только идеологически преодолеть, но и эстетически деконструировать прошлое *ancien régime*. Не раз возвращавшийся к этому фильму Эйзенштейна Шкловский в одном из своих поздних эссе заметил:

Служители Зимнего дворца говорили, что при взятии Зимний пострадал меньше, чем при съемке. Это потому, что большевики боролись с Временным правительством, а не с мебелью⁴³.

41. Кларк К. Москва, четвертый Рим. Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931–1941). М.: НЛО, 2018. С. 388.

42. Ленин В. И. Доклад о задачах власти Советов // Полн. собр. соч. М.: Политиздат, 1974. Т. 35. С. 2.

43. Шкловский В. Разговор с друзьями // Он же. За 60 лет. Работы о кино. С. 389.

Обвинивший Эйзенштейна в вещизме, Шкловский был прав по сути, но не прав в оценке этой позиции как ложной. В 1927 году бороться нужно было уже не с Временным правительством, а как раз с той «мебелью» (музеем классических культурных форм), которую все более активно стал присваивать новый режим в процессе социалистического строительства.

Надо сказать, что лефовский соратник Шкловского Третьяков оказался значительно более чувствителен к этой проблеме, абсолютно точно указав направление главного удара, намеченное в фильме Эйзенштейна:

Зимний дворец должен быть взят дважды. В 1917 году он был разгромлен как цитадель политическая. Очередь за разгромом цитадели эстетической. Иронический, издевательский, уничтожающий показ Эйзенштейном всего этого царско-помещичьего монументального барства — Эрмитаж, ковры, фарфор, картины, статуи — намечает пути эстетического штурма. В этом штурме эйзенштейновская работа — только один участок, ибо «эстетический Зимний» художественным мещанством разлит еще по всей стране, по всем квартирам и привычкам⁴⁴.

Содержащийся здесь призыв к удвоению революционного преодоления прошлого соответствовал лефовской программе культурной революции, согласно которой эстетический штурм должен был по-настоящему завершить процесс, начатый разгромом «политической цитадели» Зимнего. Однако политический переворот на своем новом, культурном витке превратился в поворот на 360 градусов, во многом вернув ситуацию к исходной точке, хотя и на ином уровне диалектической спирали, сохранившем основные атрибуты революционного начала. Культурная революция обернулась культурной реставрацией⁴⁵.

44. Третьяков С. Кино к юбилею // Новый Леф. 1927. № 10. С. 29.

45. Ср. с опирающимся на чтение «Надзирать и наказывать» Фуко выводом о том, что русская революция провалилась, так как «оставила нетронутыми социальные иерархии и не наложила никакого запрета на функционирование дисциплинарных техник» (*Patton P. Of Power and Prisons // Foucault M. Power, Truth, Strategy. Sydney: Feral Publications, 1979. P. 126*). Этот вывод необходимо скорректировать. Конечно, революция и последующее социалистическое строительство радикально «затронули» прежние социальные иерархии, но они сохранили сам принцип иерархии, воспроизведенный через прежние культурные формы, наследование которым впоследствии облегчило и становление новой советской социальной иерархии.

Целиком отданный новыми властями под музей и превратившись в Государственный Эрмитаж, Зимний дворец, как символ недавно поверженной империи, нанес ответный удар во время культурной революции, когда на уровне художественных форм было реставрировано то, что было свергнуто во время революции социалистической. Имперская полития вернулась вместе с классическим искусством: контрреволюционный потенциал ампириной мебели на длинной дистанции оказался мощнее революционного порыва балтийских матросов, к концу 1920-х годов превратившихся в дисциплинированных посетителей музейных экспозиций, демонстрирующих «царско-помещичье монументальное барство» в качестве общего культурного наследия. Причем характер этого возвращения проблематизирует описанные Альтюссером отношения между государством и его идеологическими аппаратами, поскольку в данном случае речь идет о том, как идеологические аппараты *прежнего государства*, востребованные *новым государственным режимом* для укрепления и стабилизации своей власти, привели к его радикальной мутации и частичному воспроизводству прежнего социально-политического порядка управления (как на уровне институций, так и на уровне неформальных социальных практик). При этом альтюссеровский тезис о материальности ритуалов идеологической интерпелляции оказался полностью подтвержден: приобщение новых элит к старой мебели, воспроизведенное в приобщении масс к старым формам культурного производства, вернуло и прежние формы господства (жесткую иерархичность социального порядка, экономическое неравенство, отчуждение трудящихся от собственности на средства производства, депривацию национальных меньшинств, имперскую геополитику). Унаследованная культура старого режима сработала как невидимая рука прошлого, возродившая прежние формы отношения между государством и обществом, равно как и ценностные представления, легитимирующие эти формы.

Возможно, такой финал был неизбежен. Социальное освобождение угнетенных, наделяя их гражданскими правами, превращало их в объекты культурной нормализации и дисциплинирования, поскольку требовало от них соответствия выработанным нормам «сознательности» и «культурности»⁴⁶. Государство рабочих и крестьян должно было модернизировать само себя, сотво-

46. Об этом см.: Волков В. В. Концепция культурности, 1935–1938 годы: советская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1–2. С. 194–213.

рив собственную политическую субъектность благодаря направленному на себя сверхусилию. Такое «оборачивание на себя» делало диффузными и подвижными границы между внутренним и внешним, между субъектом и объектом. Траектории социальной эмансипации и культурной нормализации, просвещения и индоктринации, стихийной самодеятельности масс и рационального администрирования со стороны государственного аппарата оказывались сложно переплетены в общем процессе культурной революции. Этот культ государственного самопреобразования соответствует важным для эпохи социальным практикам *самообразования, самовоспитания, самоконтроля*. Механизмы, определяющие формирование советского субъекта, несколько иначе ставят вопрос и об исследованных Мишелем Фуко практиках «заботы о себе»⁴⁷. Если Фуко в одном из последних своих лекционных курсов акцентирует внимание на роли этих практик в формировании новоевропейского субъекта, подчеркивая момент его «самоучреждения» в противовес учреждающим техникам господства (Власть) и риторике дискурса (Знание), то автодидактизм советского субъекта оказывался трудно отделим от этих последних. «Забота о себе» в советском случае оказывалась как раз обязанностью, вменяемой государством своим гражданам. История Сократа, с интерпретации которой начинает Фуко свой курс⁴⁸, в СССР оказалась перевернутой, — как если бы Сократ был казнен афинским судом не потому, что главной и единственной своей задачей видел «заботу о себе», а потому, что плохо и недостаточно усердно отдавался этой заботе.

Библиография

- Барт Р. Мифологии. М.: Издательство им. Сабашниковых, 1996.
- Батлер Дж. Подчинение, сопротивление, переозначивание. Между Фрейдом и Фуко // Она же. Психика власти: теории субъекции. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетей, 2002.
- Беньямин В. Автор как производитель // Он же. Учение о подобию. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012.
- Бухарин Н. Вопросы первого Всесоюзного совещания рабкоров (16–20 янв. 1923 г.) // Он же. О рабкоре и селькоре. Ст. и речи. 2-е изд. М.: Правда; Беднота, 1926.

47. Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 учебном году / Пер. с фр. А. Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2007.

48. Там же. С. 13–40.

- Бухарин Н. Заветы Ленина и рабкоры // Он же. О рабкоре и селькоре. Ст. и речи. 2-е изд. М.: Правда; Беднота, 1926.
- Волков В. В. Концепция культурности, 1935–1938 годы: советская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1–2. С. 194–213.
- Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб.: Академический проект, 1999.
- Зиновьев Г. Новый великий почин (Рабкоровское и селькоровское движение). М.; Л.: Правда, 1925.
- Как проводить чистку партии. Сборник директивных статей и материалов / Под ред. Е. Ярославского. М.; Л.: ГИЗ, 1929.
- Калинин И. От понятия «деланность» к технологии «литературного ремесла»: Виктор Шкловский и социалистический формализм // Транслит: литературно-критический альманах. 2010. № 6–7. С. 15–30.
- Кларк К. Москва, четвертый Рим. Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931–1941). М.: НЛО, 2018.
- Кожев А. Диалектика реального и феноменологический метод у Гегеля // Он же. Идея смерти в философии Гегеля. М.: Логос; Прогресс-Традиция, 1998. С. 553–656.
- Ленин В. И. Доклад о задачах власти Советов // Полн. собр. соч. М.: Политиздат, 1974. Т. 35. С. 2–3.
- Люксембург Р. Оппортунизм в теории и на практике // Она же. О социализме и русской революции. Избр. ст., речи, письма. М.: Политиздат, 1991.
- Лядов М. Н. Вопросы быта // Партийная этика. Документы и материалы дискуссий 1920-х годов / Сост. и автор примеч. М. А. Макаревич. М.: Политиздат, 1989.
- Манхейм К. Идеология и утопия // Он же. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 52–95.
- Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 50 т. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 8. С. 115–217.
- Спивак Г. Ч. Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования. Хрестоматия. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. Ч. II. С. 649–670.
- Третьяков С. Кино к юбилею // Новый Леф. 1927. № 10.
- Третьяков С. Продолжение следует // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа / Под ред. Н. Чужака. М.: Захаров, 2000.
- Третьяков С. Рабкор и строительство // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа / Под ред. Н. Чужака. М.: Захаров, 2000.
- Фрезинский Б. Писатели и советские вожди. М.: Элис Лак, 2008.
- Фриче В. Пролетарская поэзия. М.: Денница, 1919.
- Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 учебном году. СПб.: Наука, 2007.
- Фуко М. Порядок дискурса // Он же. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 47–96.
- Фуко М. Что такое автор // Он же. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 26–40.
- Фуко М., Делёз Ж. Интеллектуалы и власть // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избр. полит. ст., выступ. и интервью. Ч. 1. М.: Праксис, 2002. С. 66–81.
- Хархордин О. Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб.; М.: ЕУСПб; Летний сад, 2002.

- Шкловский В. Б. О писателе и производстве // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа / Под ред. Н. Чужака. М.: Захаров, 2000. С. 194–199.
- Шкловский В. Б. Техника писательского ремесла. М.; Л.: Молодая гвардия, 1927.
- Шкловский В. Куда шагает Дзига Вертов // Он же. За 60 лет. Работы о кино. М.: Искусство, 1985.
- Шкловский В. Разговор с друзьями // Он же. За 60 лет. Работы о кино. М.: Искусство, 1985.
- Эткинд А. Фуко и имперская Россия: дисциплинарные практики в условиях внутренней колонизации // Мишель Фуко и Россия: Сб. ст. / Под ред. О. Хархордина. СПб.; М.: ЕУСПб; Летний сад, 2001. С. 166–192.
- Althusser L. *Idéologie et appareils idéologiques d'Etat* (1970) // Idem. *Positions* (1964–1975). P.: Éditions Sociales, 1976. P. 67–125.
- Butler J. *Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France*. N.Y.: Columbia University Press, 1999.
- Greenblatt S. *Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
- Halfin I. *From Darkness to Light: Student Communist Autobiography During NEP* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1997. Bd. 45. № 2. S. 210–236.
- Halfin I. *Terror in My Soul: Communist Autobiography on Trial*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
- Hellbeck J. *Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931–1939)* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1996. Bd. 44. № 3. S. 344–373.
- Hellbeck J. *Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.
- Hellbeck J. *Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia* // *Kritika*. 2000. № 1. P. 71–96.
- Hellbeck J. *Writing Self in the Time of Terror: Alexander Afinogenov's Diary of 1937* // *Self and Story in Russian History* / L. Engelstein, S. Sandler (eds). Ithaca; L.: Cornell University Press, 2000. P. 69–93.
- Lazarus N. *National Consciousness and the Specificity of (Post)Colonial Intellectualism* // *Colonial Discourse/Postcolonial Theory* / F. Barker, P. Hulme, M. Iversen (eds). Manchester: Manchester University Press, 1994. P. 197–220.
- Patton P. *Of Power and Prisons* // Foucault M. *Power, Truth, Strategy*. Sydney: Feral Publications, 1979.

CULTURAL REVOLUTION, SOVIET SUBJECT, AND THE ORDER OF DISCOURSE

ILYA KALININ. Associate Professor, Department of Interdisciplinary Studies in Languages and Literature, Smolny Faculty of Liberal Arts and Sciences, i.kalinin@spbu.ru.

Saint Petersburg State University (SPbU), 58–60 Galernaya str., 190000 St. Petersburg, Russia.

Keywords: order of discourse; Soviet subject production; post-colonial theory; Left Front of the Arts; LEF; cultural revolution.

One of the main topics of theoretical discussions following 1968 was raised by Michel Foucault, who argued for the formative role of discourse — that discourse has regulating effects that extend not only to the structure of utterances, but also to speakers themselves. The shift in viewpoint that Foucault accomplished has provided a way to see discourse not only as a medium of power, but as power itself, a power that generates the subjectivity of those who use or gain access to use of a given discourse. Recognizing this power in discourse enabled Foucault to overturn the traditional conception of the individual as the ontological source of speech (“the creative force determining the initial position of writing”) and to redefine it as a function of the utterance itself that guarantees grammatical unity and the conceptual and stylistic cohesion of speech.

This analytical perspective is applicable to the historical materials on the debates about the paths and methods of the Soviet cultural revolution that the victorious proletariat should employ in order to shore up the social victory of October 1917. The problems confronting Soviet theoreticians and agents of the cultural revolution had much in common with those that would be conceptualized later on in discussions from the 1970s and 1980s. The form of assimilation of this normative order and the mechanisms of ideological Interpellation, which imply the active involvement of Soviet citizens in production of discourses, are the central topics in this examination as they provide insight into how an idea becomes a material force and how it captures the masses. The immediate object of study is the worker and village correspondent (*rabkor* and *selkor*) movement of the 1920s as well as its understanding by theorists of the Left Front of the Arts.

DOI: 10.22394/0869-5377-2019-2-221-246

References

- Althusser L. *Idéologie et appareils idéologiques d'Etat* (1970). *Positions* (1964–1975), Paris, Éditions Sociales, 1976, pp. 67–125.
- Barthes R. *Mifologii* [Mythologies], Moscow, Izdatel'stvo im. Sabashnikovykh, 1996.
- Benjamin W. *Avtor kak proizvoditel'* [Der Autor als Produzent]. *Uchenie o podobii. Mediaestheticheskie proizvedeniia* [Doctrine of the Similar. Mediaesthetic Works], Moscow, RGGU, 2012.
- Bukharin N. *Voprosy pervogo Vsesoiuznogo soveshchaniia rabkorov* (16–20 ianv. 1923 g.) [Questions of First All-Union Meeting of Worker Correspondents (January 16–20, 1923)]. *O rabkore i sel'kore. St. i rechi. 2-e izd.* [On Worker and Rural Correspondents. Papers and Speeches. 2nd ed.], Moscow, Pravda, Bednota, 1926.
- Bukharin N. *Zavety Lenina i rabkory* [Injunctions of Lenin and Worker Correspondents]. *O rabkore i sel'kore. St. i rechi. 2-e izd.* [On Worker and Rural Correspondents. Papers and Speeches. 2nd ed.], Moscow, Pravda, Bednota, 1926.

- Butler J. Podchinenie, soprotivlenie, pereoznachivanie. Mezhdru Freidom i Fuko [Subjection, Resistance, Resignification. Between Freud and Foucault]. *Psikhika vlasti: teorii sub'ektsii* [The Psychic Life of Power: Theories of Subjection], Kharkiv, Saint Petersburg, KhTsGI, Aleteia, 2002.
- Butler J. *Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France*, New York, Columbia University Press, 1999.
- Clark K. *Moskva, chetvertyi Rim. Stalinizm, kosmopolitizm i evoliutsiia sovetskoi kul'tury (1931–1941)* [Moscow, the Fourth Rome. Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931–1941], Moscow, New Literary Observer, 2018.
- Dobrenko E. *Formovka sovetskogo pisatel'ia. Sotsial'nye i esteticheskie istoki sovetskoi literaturnoi kul'tury* [Molding of Soviet Writer. Social and Aesthetic Roots of Soviet Literary Arts Culture], Saint Petersburg, Akademicheskii proekt, 1999.
- Etkind A. Fuko i imperskaia Rossiia: distsiplinarnye praktiki v usloviakh vnutrennei kolonizatsii [Foucault and Imperial Russia: Disciplinary Practices in the Conditions of Inner Colonisation]. *Misheľ Fuko i Rossiia: Sb. st.* [Michel Foucault and Russia] (ed. O. Kharkhordin), Saint Petersburg, Moscow, EUSPb, Letnii sad, 2001, pp. 166–192.
- Foucault M. Chto takoe avtor [Qu'est-ce qu'un auteur?]. *Volia k istine: po tu storonu znaniia, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [Will to Truth: Beyond Knowledge, Power, and Sexuality. Works of Various Years], Moscow, Kastal', 1996, pp. 26–40.
- Foucault M. *Germenevtika sub'ekta. Kurs leksii, pročitannykh v Kollezh de Frans v 1981–1982 uchebnom godu* [L'Hermeneutique du sujet: Cours au Collège de France, 1981–1982], Saint Petersburg, Nauka, 2007.
- Foucault M. Poriadok diskursa [L'ordre du discours]. *Volia k istine: po tu storonu znaniia, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [Will to Truth: Beyond Knowledge, Power, and Sexuality. Works of Various Years], Moscow, Kastal', 1996, pp. 47–96.
- Foucault M., Deleuze G. Intellektualy i vlast' [Intellectuals and Power]. In: Foucault M. *Intellektualy i vlast': Izbr. polit. st., vystup. i interv'iu. Ch. 1* [Intellectuals and Power: Selected Political Papers, Speeches and Interviews. Pt. 1], Moscow, Praksis, 2002, pp. 66–81.
- Frezinskii B. *Pisateli i sovetskie vozhd'i* [Writers and Soviet Leaders], Moscow, Elis Lak, 2008.
- Friche V. *Proletarskaia poeziia* [Proletarian Poetry], Moscow, Dennitsa, 1919.
- Greenblatt S. *Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare*, Chicago, University of Chicago Press, 1980.
- Halfin I. From Darkness to Light: Student Communist Autobiography During NEP. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 1997, Bd. 45, No. 2, S. 210–236.
- Halfin I. *Terror in My Soul: Communist Autobiography on Trial*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2003.
- Hellbeck J. Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931–1939). *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 1996, Bd. 44, No. 3, S. 344–373.
- Hellbeck J. *Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2006.
- Hellbeck J. Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia. *Kritika*, 2000, no. 1, pp. 71–96.
- Hellbeck J. Writing Self in the Time of Terror: Alexander Afinogenov's Diary of 1937. *Self and Story in Russian History* (eds L. Engelstein, S. Sandler), Ithaca, London, Cornell University Press, 2000, pp. 69–93.

- Kak provodit' chistku partii. Sbornik direktivnykh statei i materialov* [How to Purge the Party. Collection of Instructive Papers and Materials] (ed. E. Iaroslavskii), Moscow, Leningrad, GIZ, 1929.
- Kalinin I. Ot poniatia "sdelannost'" k tekhnologii "literaturnogo remesla": Viktor Shklovskii i sotsialisticheskii formalizm [From the Concept of "Artificiality" to the Technology of "Literary Arts": Viktor Shklovsky and Socialist Formalism]. *Translit: literaturno-kriticheskii al'manakh* [Translit: Literary and Critical Almanac], 2010, no. 6–7, pp. 15–30.
- Kharkhordin O. *Oblichat' i litsemerit'. Genealogiia rossiiskoi lichnosti* [Convict and Dissemble: Genealogy of the Russian Personality], Saint Petersburg, Moscow, EUSPb, Letnii sad, 2002.
- Kojève A. Dialektika real'nogo i fenomenologicheskii metod u Gegelia [La dialectique du réel et la méthode phénoménologique chez Hegel]. *Ideia smerti v filosofii Gegelia* [L'idée de la mort dans la philosophie de Hegel], Moscow, Logos, Progress-Traditsiia, 1998, pp. 553–656.
- Lazarus N. National Consciousness and the Specificity of (Post)Colonial Intellectualism. *Colonial Discourse/Postcolonial Theory* (eds F. Barker, P. Hulme, M. Iversen). Manchester: Manchester University Press, 1994, pp. 197–220.
- Lenin V. I. Doklad o zadachakh vlasti Sovetov [Report on the Immediate Tasks of the Soviet Government]. *Poln. sobr. soch.* [Complete Works], Moscow, Politizdat, 1974, vol. 35, pp. 2–3.
- Liadov M. N. Voprosy byta [Questions of Mode of Life]. *Partiinaia etika. Dokumenty i materialy diskussii 1920-kh godov* [Ethics of the Party. Documents and Discussion Materials of 1920s] (ed. M. A. Makarevich), Moscow, Politizdat, 1989.
- Luxemburg R. Opportunizm v teorii i na praktike [Opportunism in Theory and Practice]. *O sotsializme i russkoi revoliutsii. Izbrannye stat'i, rechi, pis'ma* [On Socialism and Russian Revolution. Selected Papers, Speeches, Letters], Moscow, Politizdat, 1991.
- Mannheim K. Ideologii i utopiia [Ideologie und Utopie]. *Diagnoz nashego vremeni* [Diagnosis of our Epoch], Moscow, Iurist, 1994, pp. 52–95.
- Marx K. Vosemnadtsatoe brumera Lui Bonaparta [Der 18te Brumaire des Louis Napoleon]. In: Marx K., Engels F. *Soch.: V 50 t. 2-e izd.* [Works: In 50 vols. 2nd ed.], Moscow, Gospolitizdat, 1957, vol. 8, pp. 115–217.
- Patton P. Of Power and Prisons. In: Foucault M. *Power, Truth, Strategy*, Sydney, Feral Publications, 1979.
- Shklovsky V. Kuda shagaet Dziga Vertov [Where Is Walking Dziga Vertov]. *Za 60 let. Raboty o kino* [Over 60 years. Works on Cinema], Moscow, Iskusstvo, 1985.
- Shklovsky V. O pisatele i proizvodstve [On Writer and Production]. *Literatura fakta. Pervyi sbornik materialov rabotnikov LEFa* [Literature of Fact. First Collection of Materials of the Left Front of the Arts Workers] (ed. N. Chuzhak), Moscow, Zakharov, 2000, pp. 194–199.
- Shklovsky V. Razgovor s druž'iami [Conversation with Friends]. *Za 60 let. Raboty o kino* [Over 60 years. Works on Cinema], Moscow, Iskusstvo, 1985.
- Shklovsky V. *Tekhnika pisatel'skogo remesla* [Technique of Writing], Moscow, Leningrad, Molodaya Gvardiya, 1927.
- Spivak G. C. Mogut li ugnennnye govorit'? [Can the Subaltern Speak?]. *Vvedenie v gendernye issledovaniia. Khrestomatiiia* [Introduction to Gender Studies. Anthology], Kharkiv, Saint Petersburg, KhTsGI, Aleteia, 2001, pt. II, pp. 649–670.

- Tret'iakov S. Kino k iubileiu [Jubilee Film]. *Novyi Lef* [New Left Front of the Arts Workers], 1927, no. 10.
- Tret'iakov S. Prodolzhenie sleduet [To Be Continued]. *Literatura fakta. Pervyi sbornik materialov rabotnikov LEFa* [Literature of Fact. First Collection of Materials of the Left Front of the Arts Workers] (ed. N. Chuzhak), Moscow, Zakharov, 2000.
- Tret'iakov S. Rabkor i stroitel'stvo [Worker Correspondent and Construction Activity]. *Literatura fakta. Pervyi sbornik materialov rabotnikov LEFa* [Literature of Fact. First Collection of Materials of the Left Front of the Arts Workers] (ed. N. Chuzhak), Moscow, Zakharov, 2000.
- Volkov V. V. Kontsepsiia kul'turnosti, 1935–1938 gody: sovetskaia tsivilizatsiia i povsednevnost' stalinskogo vremeni [The Conception of Culturedness, 1935–1938: Soviet Civilization and Everyday Life in the Stalinist Period]. *Sotsiologicheskii zhurnal* [Sociological Journal], 1996, no. 1–2, pp. 194–213.
- Zinoviev G. *Novyi velikii pochin (Rabkorovskoe i sel'korovskoe dvizhenie)* [New Great Initiative (Worker and Rural Correspondents' Movement)], Moscow, Lenin-grad, Pravda, 1925.